

Ф. А. Арсеньев

ИЗ ОЧЕРКОВ «ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ» И «ЛЯЙКОДЖ»

Мы на первом перегоне от Яренска к Усть-Сысольску. Уже заплотень. Время холодное, морозное, но тихое. Треск сучка, постукивание дятла в дуплистое дерево, взвизгивание желны — звучно отдаются в воздухе. Солнце светит; но оно не похоже на яркое, лучезарное, ослепляющее солнце; это какая-то медная лепешка катится по краю неба и горизонтальными лучами лениво и тускло освещает уснувшие под снеговым покровом окрестности. Лес такой печальный: густые ветви елей и пихт, опущенные мелкими иголками инея, повисли книзу, макушки сосен как-то растопырились, разрезились, мелкая поросль пригнулась к земле под тяжестью снеговых хлопьев. Холодно и пусто.

Вот слышались глухие понукания и хлопанье гусевого кнута. Вскоре показался из-под горы дорожный возок, довольно солидных размеров, обшитый циновками. Его с трудом вытягивали четыре тощих клячи. Ямщик, молодой неуклюжий парень, в шапке-ушанке, в оленьих рукавицах длиною по локоть и белых катаниках, сидел на козлах с таким спокойствием, с такою флегматическою ленью, как будто на печке грелся. Возок поднялся в гору. Ямщик прикрикнул на лошадей, они засемили мелкой рысью и, наконец, пустились вскачь. Впереди глубокий ухаб; возок врезался в него со все-

го размаха, угостивши седоков чувствительным толчком.

Из левых дверей возка высунулась голова в папахе.

— Ты что, Абрам, куда? — спросил кто-то из возка.

— А вот посмотреть места. Ведь в *зырь*, ба-
тюшка, едем, так-таки в самую *зырь*, — отвечал
тот, кого назвали Абрамом, — чай, совсем особли-
вый народ эти зыряне? Ей, ямщик, слышь ты,
парень, видал зырян?

— Що надо? — спросил ямщик, обернувшись
к спрашивающему и приостановив для чего-то
лошадей.

— Да ты поезжай, олух царя небесного! Мож-
но и ехамши разговаривать-то. Зырян, мол, ви-
дал ли?

— Зырян-те? Для че зырян не видать. Вот
приедем на станцу — и будут зыряне.

— Что, чай, занятный народ, а?

— Що?

— Народ-то занятный, аль нет?

— Ничего народ, — как следно быть, такой
же; у меня жена из зырян.

— Хороша?

— Ничего баба.

— Экой пень! Ты говори толком.

— Чего толком?

— Ничего; ну тя к черту!

И голова в папахе, ругнув ямщика мухомо-
ром, скрылась в возке.

Позвольте, господа, познакомить вас с седока-
ми рогожного рыдвана.

В зырянскую сторону, в Усть-Сысольск, в этот
глухой отдаленный городок, где нет проезжаю-

щих, а есть только приезжающие, тянулся в этом возке со святой Руси на службу ваш покорнейший слуга. Переселение это я совершал по воле различных враждебных обстоятельств, преследующих меня в жизни с удивительным упорством. Правда, имея от природы очень живучую натуру, я легко справлялся с неудачами, хотя они и били меня жестоко с младенчества, с семейного положения, включительно с воспитанием, лицейской жизнью и, наконец, служебным поприщем. Горе меня потом как-то не пробиало до сердца; я приучился изнашивать его дотла и никогда не вспоминать о нем. Вот и теперь, в самую лучшую пору моей молодости, выпал мне жребий ехать на житье в глушь, в затолошь, в леса. И в какое время выпал этот жребий? Когда в русском царстве потянуло свежим ветерком, когда все молодое и помолодевшее, все жаждущее света и жизни, открыто выступив вперед на бой со старьем и рухлядью, обсуживало с энергией юношеского пыла вопрос за вопросом и напряженно прислушивалось, как разрешится великое дело освобождения крестьян, бывшее тогда еще в самом начале, в проектах. В такое интересное, полное живой деятельности время тяжеленько мне было оторваться от мест, где всему этому предназначено воочию совершиться, и тащиться в трущобу, на стоячую воду. Но, задавшись решимостью никогда не унывать, не падать духом, я ехал, не скучая. Я утешал себя мыслью, что в Зырянском крае встречу много любопытного в жизни и нравах чуждого мне народа, интересные рассказы о промышленных подвигах которого сильно подстрекали мое любопытство как охотника. Я был охотник, самый

страстный охотник с ранних лет, с детства. Припоминая кое-что прочитанное о Зырянском крае, я надеялся найти в нем широкое поприще для охотничьей деятельности. Я так же, как и многие, представлял себе эту сказочную страну покрытую непроходимо-громадными лесами, в которых на просторе водится рябчик и глухарь, плодится в лесной чаще россомаха и невозмутимо покойно живет косматый медведь. А в болотах, на озерах, на реках — какие, должно быть, становища лебедей, гусей, уток различных пород... дичи, сколько дичи! — есть развернуться где на воле.

Мои стремления, мысли и надежды вполне разделял спутник мой Абрам, такой же пылкий охотник, ехавший со мною на чужую дальнюю сторону из добры-воли — в качестве прислуги. На личности Абрама мы остановимся подольше.

Представьте себе маленького, худенького, щедедушного человечка, с черными как смоль волосами, с совершенно великорусским овалом лица, освещенного всегда ласковой, несколько хитрой, но более добродушной улыбкой. Абраму было далеко за 30 лет, но он удивительно хорошо сохранился, так что ему не давали и тридцати. Жизнь его шла обыкновенным порядком большей части крепостных людей: до семнадцати лет был в крестьянстве, на тяжелой работе, потом взят во двор. Он сызмала привык к ружью и охоте, на которую таскал его с собой старший его брат, тоже охотник, но уже не того пошиба: тот был охотник из-за добычи, промышленник больше, «шкурятник» — значит. Абрам одарен был сильной восприимчивостью, любовью к природе, которая отражалась в нем необычно

венно натурально и цельно. Поэтому из него вышел охотник не «шкурятник», но наблюдатель, ценящий впечатления, любитель наслаждений охоты, а не выгод от нее. Еще в детстве бывали с ним такие случаи, по которым можно было угадать в нем будущего замечательного сподвижника на егерском поприще: когда он был лет одиннадцати, ему поручено было от семьи нянчиться с сестренкой, девочкой полутора года, болезненной и хилой. Он исполнял очень усердно свою обязанность, не разлучался с ребенком ни на одну минуту, и когда девочка задавала ревку, утешал ее чем только мог. На беду, в силу своих склонностей ко всевозможным охотам, Абрам был большой любитель удить рыбу. Девчонка сидит около воды, роется в песке, играет камешками, а он поддевает себе уклею на мушку. Случилось так, что ребенку не сиделось, надо было взять его на руки, а между тем рыба клевала необыкновенно хорошо. Что тут делать? Нельзя же в одно и то же время и Дуняшку держать, и рыбу удить. Абрам ухитрился привязать девочку платком к груди, устроивши ей очень удобное сиденье. Девочка успокоилась, и ужение уклеи продолжалось успешно. Но вот одна плутоватая рыбешка как-то особенно затейливо клюнула и потянула поплавок в реку, беспрестанно его окунывая. Надо было травить, т. е. дать свободу лесе. Абрам забрел по колена в воду — рыба все продолжает тянуть поплавок в реку. Он наклонился, вытянул руки вперед, и девчонка в эту самую секунду, потеряв равновесие, бултыхнулась в воду. Со стоическим хладнокровием, не спуская глаз с поплавка, подхватил ее Абрам левою рукою, стряхнул, как мочалку,

и, держа на воздухе, не обращая никакого внимания на плач Дуняши, продолжал травить рыбешку — и дождался-таки, наконец, что плутоватая уклейка погрузила поплавок и попалась на удочку.

Как большая часть охотников из простонародья, Абрам был суеверен до крайней степени; приметы, словца, заговоры, встречи, окуривания богородской травой, разные «хитины», как он выражался, были у него постоянно в употреблении, когда он отправлялся в поле. Неудачи на охоте, частые промахи, отсутствие дичи в тех местах, где предполагалось отыскать ее много, он относил к проделкам старого охотника, человека по природе очень тихого, но крайне уродливого: рябого, с огромным бельмом на левом глазу, всегда нечесаного, со всклокоченной серо-рыжеватой бородой. Старика этого звали Миронем Ивановичем. Он жил одиноко, бобылем, на задворках села, около которого находилась наша усадьба. Угрюмый, неповоротливый, с развалистой тяжелой походкой, Мирон Иванович слыл на околотке знахарем, в качестве которого приглашался на свадьбы от порчи, лечил народ травами, гадал на воде об украденных полотнах и лошадях. Собственно, этот-то промысел Мирона Ивановича и внушал Абраму то суеверное негодование, которое он не скрывал, когда приходилось ему возвращаться с охоты попом, т. е. с пустыми тороками.

— Что, как поле? — спрашивал я Абрама, возвращавшегося с пустым ягдташем и недовольной физиономией.

— Да что, батюшка, безглазик подшутил, кривондас Мирошка, пуделял все.

— Ты опять на него, Абрам; понапрасну старика обижаешь.

— Нет, уж это его штука: меня же угораздило сегодня мимо его кельи идти, а он в эту пору рожу свою кривую в окошко выставил, видел меня; а уж это такая старая собака — на сене лежит, сама не ест, другим не дает. Его штулки.

Года за три до отъезда в Усть-Сысольск случилась с ним раз такая оказия: сделал он шалаш в поле, на тетеревином перелете. Осень стояла в тот год превосходная: тихие, ясные дни, крепкие утренники с туманом; тетеревей вылетало бездна. Абрам каждое утро носил пары по две, по три. Я в тот год всю осень страдал сильным расстройством груди и потому не ходил на охоту; но Абрам, возвращаясь с поля с добычей, всякий раз прямо являлся ко мне и рассказывал со всеми подробностями свои охотничьи подвиги.

В одно утро Абрам, возвратившись с охоты, не зашел ко мне. Я послал за ним. Явился; физиономия озабоченная, печальная.

— Что ты, Абрам, не зашел ко мне? — спросил я его.

— Да так, батюшка, некогда было.

— Не убил ничего.

— Нет, убил трех штук: черныша да пару тетерок.

— Чем же ты встревожен? Видно, пуделял?

— Нет, не пуделял; да я так, ничего не встревожен.

— Нет, встревожен; уж я вижу; расскажи, что случилось?

— Право, ничего не случилось; это так со мной.

Так в этот раз и не допытал я его. На другое утро снова не зашел ко мне Абрам; снова послал я за ним: ретивый охотник предстал еще с более печальною физиономией, совсем сентябрем смотрел, хотя в это утро охота была очень добычлива.

Я начал спрашивать Абрама понастойчивее. Меня сильно заинтересовала эта никогда не бывавшая, совершенно неестественная в нем озабоченность, тогда как и стрелялось удачно, и дичи принесено было домой много. На все мои расспросы Абрам только отнекивался и вздыхал.

— Не опять ли Мирон пошутил?

— Ну его к лешему! Погань помойная, старый отпок окаянный!..

— Эх ты его честишь; видно, подозренье есть, непременно что-нибудь случилось!

— Ничего не случилось... все пустое, после скажу...

Но и после не сказал Абрам; а между тем тревожное состояние его увеличивалось более и более; он сделался задумчив, с лица спал, похудел.

Так прошло около недели. В одно утро, возвратившись с охоты, вдруг является он ко мне в необыкновенном волнении.

— Батюшка, голубчик, поздравьте-ко меня с богатым полем!

— Что такое случилось, что, рассказывай скорее,— спросил я Абрама, заинтересованный его торжествующей физиономией.

— А вот слушайте, все расскажу по порядку. Помните, вы меня спрашивали, что я встревожен-то, печален-то был? Ведь какая оказия-то; ведь чуть было греха на душу не принял, сби-

рался Мирона Ивановича бить; думал, все это он, кривой пес — кому больше? Слушайте-ко, что расскажу-то...

— Ну, слушаю, слушаю, рассказывай.

— Шалаш-то под тетеревей сделан у меня на углу в поле; знаете, такое высокое местечко выдалось около наклепой сосны; ну, так вот тут. Тут самый свал, главный самолет тетеревей. Да и удобно: две березы такие кужлявые стоят, ель высокая; у меня промеж них, в опушке-то, в мелком вересняжке и сделан шалаш. Приходится так: прямо, к полю — сосна, назади, к лесу — ель, справа — береза и слева — береза. Ну, вот я и стрелял; все шло благополучно, каждое утро носил домой пары по две, по три. Только помните, дён восемь тому, утро было такое знатное, морозное, туманное. Залез я в шалаш ранехонько, сижу; слышу — куропатка гаркнула, тетерев в лесу чувыкнул, я ему чувыкнул — он откликнулся. Так мы перечувывкивались с полчаса; летит, слышу... сел он с правой руки на кужлявую березу, на самую вершинку. Стрелять ловко таково; резнул — свалился, как сноп. После еще прилетало тетеревьё — убил я в это утро штуки три или четыре. Кончился вылет, иду собирать. Все целы, только первого тетерева нет, убежал, значит... Оказия! Близко стрелял, упал не со-встрепенувшись — и убежал! Как это его хватило? На другое утро опять на ту же березу садится тетерев; приложился я верно — бац! Свалился в вересняк. Вересняжок мелкий такой около березы-то. Погодя немного тетерка прилетала на тот же присяд — и эту убил; потом пару еще на других присядах убил; начал собирать — три штуки лежат, а первого тетерева опять нет. Что за

чудо — уж это недаром: мне сейчас помнилось на Мирона Ивановича. Заговорил, мол, он этот присад. А как же тетерю-то убил? Коли бы заговоренный был, и тетеря пропала бы. Не убежал ли тетерев-то? Постой же, теперь я сделаю опробацию, увижу. На следующее утро взял ружье большое и всыпал в него здоровеннейший заряд. Сижу. Как нарочно, опять первый тетерев взгромоздился на кужлеватую березу; царапнул я его так, что нані кверху подбросило, пыжи долетели до того места, где он сидел, и повисли на сучьях, а он, заломивши крылья, хряпнулся о землю, как кусок глины. Сумленья нет — убил. После еще три тетерьки прилетали — всех ухайдачил. Стал собирать — дивное диво: первого тетерева и след простыл, опять не нашел. Вот тут уж у меня, что называется, и ум раскорячился: окуриться, мол, надо богородской травой да приговор прочитать, а то этакое странное дело, уж конечно, не человечесье, лесной шутит — Мирошка кривоглазый напустил. Ну, вот, ладно; давай я окуриваться богородской травой, приговоры от призоры, какие знал, все перечитал, от трех порогов щепочки отнимал, а ничего не помогало — как ни убью тетерева на этой проклятой березе, точно сквозь землю провалится, исчезнет! Тоска на меня такая напала, нигде места не могу найти, куда ни пойду, что ни делаю, все думаю: что бы это такое значило? Похудел, от хлеба отбило. Только позавчера сижу я в шалаше — рано забрался, чуть светать стало. Куропатки на озимь вылетели, кудахчут; две подбежали к самому шалашу — убил одну. Вот светать начало, вылету нет. Уж немного тетеревей-то осталось; мало ли я их перещелкал! Заря разлилась яркая та-

кая. Слышу, крылья свистят: глухарь летит — и прямехонько на эту березу. Лепился, лепился — сучья-то гнутся, — наконец, уселся на вершину. Я его резнул — повалился; я сейчас же из шалаша вон, под березу — нету глухаря, пропал; я метаться туда, сюда по кустам; гляжу около кочек, под огородом — нет. С досады в волосы себе вцепился, слезы прошибли. Только нечаянно и взгляни я на поле; что же вижу: через поле-то наискосок лисица, матеряющая такая, и тащит моего глухаря за шею. Да, вишь, тяжело — птица-то не по силе, она и не может скоро бежать-то. Вот-те и Мирон Иванович, и дедушка лесной, и богородская трава. Она, стерва, каждое утро забиралась в вересовые кусты, что около присяда, и выжидала добычи; а там подхватит и удерет мелочами-то, а из шалаша-то не видно. Вот ведь оказия-то какая! Давай я рассматривать около присяда все в подробности; отыскал я и то место, где она пряталась: шагах в трех умято в нем — из него она на тетеревов и бросалась. Вчера с вечера поставил я капкан на том самом месте, где приходится ей прыжок сделать. Землицей позасыпал, мошком поприкрыл. Пошел сегодня утром; на мое счастье прилетела тетеря на пересядину — я ее убил; только она свалилась — слышу, как заверещало благим матом. Втяпалась, голубушка... Посмотрите-ка, батюшка, какая знатная!

Абрам вышел за двери и оттуда выбросил за пушистый хвост на средину комнаты матерую красную лисицу.

В тот же год случилась с ним другая подобная оказия. Всю зиму ловил Абрам волков в капканы, но ловил незадачливо: в добычу досталось

что-то очень немного — одна или две штуки. Наступил Великий пост, пошли утренники, закрепило наст,— волк бросил тропу и пошел бродить, где вздумается: капканы уже не годились в дело; надо было приниматься за другие способы; Абрам начал отравлять. На загороде была у него выкинута пропадина, издохший бык-годовик. Около него раскидывал он куски отравы и каждый день на рассвете бегал проведывать, не окормился ли волк. Волк не окармливался, я подтрунивал над Абрамом:

— Много ли собак отравил, Абрам?

— Ни одной...

— А волков?

— Тоже ни одного.

— А сорок?

— Сорок-то две отравились.

— Ну, и то хорошо — все же добыча, братец...

Почем шкурки продавать думаешь?

— Ладно, смейтесь; притащу вам серяка матерого, так из одной шкуры шуба выйдет.

— Да на словах-то чего не может быть!

— А вот увидите!

— Хорошо, увидим.

Но не привелось мне увидеть серяка: весь пост прошел, а в добычу не досталось ни одного волка. В Страстную субботу Абрам посягнул на самое решительное средство — поставить самострел.

— Что ты, Абрам! Да ведь ты под уголовщину попадешь — убьешь кого-нибудь, — предостерегал я его.

— Кого убить в такое время: все за службой будут.

— А что же отравы-то, разве не действует?

— Не берут, проклятые, — слышат, видно; ничего с ними не поделаешь отравой.

— Да есть ли волки-то?

— Два ходят; и сегодня у пропадины были, весь бок выели, ночью опять придут; беспременно самострел следует поставить.

— Смотри, не попадись! Самострелы строго запрещены, попадешься — беда...

— Не попадусь, до свету завтра уберу все. Кто пойдет в такое время шататься по лесу?

Поставил Абрам самострел и не спал целую ночь. Ударили в колокол к заутрене; народ в церковь — Абрам к пропадине.

Я, беспокоясь, чтобы кто-нибудь случайно не набрел на самострел, с нетерпением ожидал возвращения Абрама.

Еще темно было, когда прибежал он со своего промысла в сильном волнении.

— Что случилось? Не угомонил ли кого? Говори скорее, пожалуйста, — спрашивал я, перепуганный ненормальным состоянием моего охотника.

— Слава Богу, ничего не случилось, а казус вышел, — отвечал Абрам.

— Какой еще казус?

— А такой ли казус, какого сродясь со мною не бывало. Самострел-то поставить я поставил, да и не рад, — сто раз скаялся; поди мне это на мысль, что завтра этакой великий праздник, птица гнезда не вьет и всякая тварь славословит Господа, а я — на-ка, поди, — на жизнь животного посягаю; грешно, думаю, не пройдет мне это даром; враг силен — нашрутит он со мной... Так это и раздумался, что ночью же хотел бежать, снять самострел. Вот к заутрене в колокол

ударили, плошки зажгли на колокольне; еще пуще совесть меня стала зазреть, что я на такой день кровь пролью; не стерпел, побежал к пропадине. Темно было. Ветерок подувал; месяц по тучкам попрыгивал; то вдруг светленькая полоска пробежит по снегу, то опять темно. Бегу я, знаете, шибко таково, перелез через осек, стал подходить к пропадине, что же вижу: глазам своим не верю... Господи милостивый!.. пропадина-то молится: стала на задние-то ноги да так и кивает головой-то, так и кивает. Страх на меня напал такой — руки не могу приподнять перекреститься, все молитвы из головы вон повыскачили; в колокола ударяют к Христовой заутрене, а пропадина молится себе да молится. Нет, думаю, не может быть такого чуда, дай подойду ближе; подвинулся еще шагов на десять — молится пропадина да и конец делу. Тут уж из ума вон меня выкинуло, пал я на колена, «Да воскреснет Бог!» — закричал; и, зная, закричал-то уж не путем, потому что в ту же минуту пропадина пала, и из нее выскочил матеряющий волчище и наутёк. Опамятовался я, подхожу — что же бы вы думали? Угораздил его неумытый подойти к пропадине-то сзади, да, видно, побоялся он расположиться около нее чередом-то, ухватил за репицу да и тянет, и тянет; пропадина и поднимись на задние мостолыги и кланяется да и кланяется; ну молится да и все тут. Каков, батюшка, казус-то?

— Хорош казус; хоть до кого, так струхнет; да как же ты волка-то не разглядел?

— За пропадиной был, окаянная сила, не видать... Так меня перепугал, до сих пор руки и ноги дрожат.

— Что же самострел-то?

— Самострел не выстрелил: морозно было, пистон не разбился; слабовата пружина у замка; да теперь не увернется...

Действительно, волк этот впоследствии достался-таки Абраму в добычу.

<Рассказ Абрама>

Весь Великий пост бродил я прошлый год за волками. Много их было тогда: по городу шатались, собак с крылец таскали. В двух местах положены были у меня пропадины, на сторожку ходил, да хитры оченно: точно кто им скажет — ни за что не придут в ту ночь, когда сидишь; а после придут беспременно и пропадину сожрут всю и кости растаскают. Ставил я около притравы капканы, но и тут никакого толку не выходило; чуют железо, что ли, или постановка нечиста, только каждый раз обойдут то место, где стоит капкан, и подойдут к пропадине с другой стороны; или вовсе не подходят; побродят только около, да и уйдут в уйму. Опять раздравательные уды весил с кусками говядины, и то вздорным делом выходило: утренник так заморозит говядину, что все уды наплотно свяжутся и вовсе не действуют. Таким-то манером я и провозился дармя до пятой недели, не добывши ни на грош. Время подходило к весне, теплее сделалось, ночи стали такие звездные, светлые, зори такие длинные, ясные.

Как теперь помню: в воскресенье вечером были у нас гости, просидели за картами часов до двух. Вышел я их провожать; слышу — воймя

воет волк на Сыsole, прямехонько против собора. Такие тоны заунывные выводит, будто с него, проклятого, черт лыки дерет. Я скорее за ружье (картечами давно приготовлено было) и побежал на голос. Добежал я до спуска, где дорога на Сысолу через реку идет, спустился до половины взвоза и стал под навес сарая, который под горой-то стоит. Ночь была тихая, звездная. Видеть можно было далеко; только против меня густая тень падала на дорогу от сарая и застилала ее. Это-то мне всю статью и испортило. Вот стою я этак под навесом-то и слышу, волк гоняет что-то по Сыsole: вниз угонку сделал да заворотил, назад погнался, потом опять вниз, а тут опять вверх; и все чуть мне, как взвизгивает он и реется. Я с места не двинулся, не шевелюсь, жду, что будет дальше. Вдруг вижу — по дороге-то, прямо с этой стороны, как клуб катится, несется ко мне что-то небольшое. «А, — думаю, — собака! видно, ее и гонял волк; вот и он вслед за ней пожалует». Поднял ружье, взвел курки, дожидаясь. Только эта собака как метель поднялась по взвозу, пробежала мимо меня саженьях в двух и села неподалеку — так шагах в двадцати; но в тени никак не можно было рассмотреть хорошенько; видно только было, что мордочка такая тоненькая, ушки востренькие; посматривает туда, под гору. «Что за чудо, — думаю: на собаку как будто не похоже; дай-ка я ее тяпну!» Приложился, совсем хотел курок спустить, да опять раздумал: что же, мол, убью я собаку, а волк сейчас должен быть следом за ней; только испугаю его, вернется. Опустил ружье, да и мызгнул я этой собаке. Как она услышала мое мызганье — повернула назад да мимо меня опять под гору-

то — шмыг! а волк-то ей навстречу прямехонько и выкатил; она видит, что дело неминуемое, как кинется с дороги налево через бугор снегу, хвост-то и развился, пушистый такой, толстый. Тут-то я и догадался, что это была лисица. Волк за ней — прыжок, да так надал, что вот чуть-чуть не сел ей на шивороток; в это самое время я приложился по волку — бац! Откачнулся он в сторону, пал и начал кататься. Я из другого ствола — осечка. Справился волк и утянул через реку. Вот я скорей бежать домой (близко тут), ног под собой не слышу, луплю да сам себя ругаю за просак: лисица в шести саженях сидела, сама в руки давалась, и не сумел я дела обделать! Какой я есть охотник?!. Можжухой такого охотника провенчать. Прибежал домой, зарядил ружье, засветил фонарь — и опять на то место, где стрелял волка. Осветил, вижу — кровь, и так-то много; видно, сильно поранил. Отлегло немного от сердца: хоть волка-то удорожил, и то добыча. Пошел я по следу — везде кровь, и не то чтобы каплями, а так дорожкой: видно, струей била из раны. Версты я две этак прошел. Во многих местах волк катался, где и лежал, и все кровь. Перестал я его следить, оставил до утра, потому свечка в фонаре догорала, темно стало следы разбирать. Воротился домой, лег, но не спал; с ума не сходила лисица; все так и мечется в глаза, как она бежала мимо меня, как сидела передо мной, как тень эта проклятая от сарая помешала мне рассмотреть ее, как она побежала назад, прыгнула через бугор, только хвостом пушистым подразнила, точно медом по губам помазала. Всю ноченьку пролежал в думе, с боку на бок ворочаясь и себя ругаячи. Лишь начало брез-

житься, пошел я волка искать. Лыж хороших в тот год у меня не было — дело, вишь, вскоре по приезде сюда случилось, не успел запастись, просто ходил на лямпах*, а на них, сами знаете, какая ходьба: чуть горка маленькая, сугроб ли, скидавай с ног, да и ползи на четвереньках, потому нисколько не держат, не то что заправские лыжи, подбитые оленьими кисами; на тех хоть на какую огромнейшую гору полезай, вершка не сдадут назад. Вот на этих-то самых лямпах пустился я следить волка. Верст шесть или семь прошел я с того места, где вчера оставил его след, и все кровь урезная хлестала из него не перемежаясь, а в коих местах лежал, так снег до самой земли протаял от крови. Диву дался я, как он не подох, окаянный, от потери столько руды!.. И где он только не шел: и косогорами-то, и в буераки-то спускался, в надуви залезал, сквозь чащи продирался. Тошно, видно, было сердечному, везде облегченья искал. Вижу, впереди два зарода (стога) сена стоят, следы прямехонько к ним. Думаю, не залег ли он тут; дай брошу обходную лыжницу**! Только хотел я сделать круг, а он и выскочил из огородов-то... Такие прыжков десять отмахал, что как будто никогда ранен не был; а потом таково легонько и покойно похрёмал, оборачивая свою толстую голову на меня. Какой волчина был здоровенный! Хвостище как помело волочится, лапищи, грудь! Стрелять было далеко, я приударил за ним вдогонку, да нет, ничего не мог поделать, утек. Так

* Лямпамы в зырянской стороне называются простые лыжи, не обитые оленьей шкурой.

** Обойти кругом на лыжах.

я следил его допоздна, с наволоку сбил в лес и оставил опять до утра. На другой день нашел я его на лежке в чаще под выворотью: уже окончел. Верст пятнадцать отошел он от того места, где я его вчера оставил, и протянул ноги. Тут я его, голубчика, оснимал и на радостях возвратился домой с добычей. Но пока я за волком-то тратил время, другую добычу-то, дорогую-то, потерял: не мне досталась. Не хватило у меня догадки последить хотя немного лисьим следом с того места, где я стрелял по волку. А штука-то такая вышла, что не отошла лиса пятидесяти сажень, как дала кровь. На след ее, день спустя, попал Никита из Тентюкова, охотник. Сдогадался он, и давай следить. Дошел только до первых кустов, что за Сысолой, и нашел ее под елью подохшею. Конечно, другой бы честный человек не воспользовался, но, говорят, честь-то прежде почитали здесь, а теперь она не в ходу: вишь — честь не спесь, поклоном ее не чествуют, и держаться, значит, ее незачем, накладисто. А лисица-то вышла черно-бурая, за тридцать целковых продал; нашему брату не шутка такие денежки. Досадно было, что добычей не попользовался. Одним выстрелом двум зверям отходную пропел, а на руки попал только один — и то дешевый: за волка взял только три с половиною целковых. Вот как иной раз, батюшка, можно проштыкнуться и променять кукушку на ястреба!

Отправляясь с берегов Шексны в зырянскую сторону, мы представляли Вологодскую губернию вообще лесниной, глушью; да и какой еще лесниной, какой глушью: пустынные моховые болота, зыбучие топи с провалами, тинистые гни-

лые озера с плавучими островами, боровые протяжения с исполинскими хвойными деревьями, дремом дремлющими под дикою природою дальнего севера, а там, далее, в северо-восточный угол губернии, — громадные пустыри, редкое население, дикая природа с таким же диким сыном лесов — промышленником-зырянником.

Такая-то картина рисовалась в нашем воображении о пространствах Вологодской губернии. Но, въехавши в нее, мы на первых же порах поражены были не громадностью непроходимых лесов, а совершенным их отсутствием: около Вологды, почти на тридцать верст в окружности, лежала степь с оазами, состоявшими из приземистых чахлах кустарников; затем далее, углубляясь от Вологды на северо-восток, мы встречали те же поля, как и в средней полосе России, те же села и деревни — где через поле, где через небольшие перелески: как раз тот же облик русский серенькой, незатейливой природы, не поражающей вас величественными образами гор, вершины которых вздымались бы выше облаков ходячих, но согревающей душу простотою того знакомого родного ландшафта, к которому так привык обитатель средней полосы России. А леса, эти громадные, пресловутые темные леса, когда экипаж наш поднимался на лысину какого-нибудь пригорка, мы видели далеко раздвинутыми по сторонам от селений. Черною массою стлались они и направо и налево, исчезая в туманной дали под горизонтом.

Вот станция Межадор, отдельный пункт зырян от русских. К ней подкатился наш возок, из которого с любопытством выскочил Абрам, приготовясь найти достойное удивления, но встре-

тил ту же русскую речь, тот же серый мужицкий зипун, тулуп, полушубок, шапку-ушанку, ту же добродушную, истертую нуждою и тяжелою грубою жизнью крестьянскую физиономию, все то же, что и на прошедшей станции — и в самом деле удивился.

— Такие же!.. — проговорил он с досадою, не обращаясь исключительно ни к кому.

— А ты что думал? — спросил я его, вылезая из возка.

— Я думал, народ другой.

— Да и в самом деле другой; это зыряне; у них свой язык есть. Поговори с ними — узнаешь.

Я пошел в комнату станционного домика. Первая особенность при этом была та, что не лебезил предо мною подрядчик лошадей, не кланялся униженно станционный писарь. Эти две неперменные личности каждой почтовой станции здесь как-то не лезли в глаза из-за подачи на водочку. В комнате тепло и чисто; два большие, широкие дивана по стенам, круглый стол, покрытый клеенкою, часы в долговязом футляре, зеркало, портрет, правила почтового ведомства, — словом, точно такая же обстановка, как и на сорока пяти проеханных доселе станциях. Я подошел к печке и начал греть руки, прикладывая их к теплым кирпичам. Потом прошелся взад и вперед несколько раз, посмотрел в окно, но мороз такими узорами загрузтовал стекла, что сквозь них ничего нельзя было видеть. На столе лежала книга для вписывания жалоб. Я, от нечего делать, развернул ее; на первой странице было написано: «Ямщики на этой станции все необразованные невежи: наделали мне дерзостей; жалуясь на это почтовому начальству.

Мария, дочь генерала Золотова». Против жалобы отмечено: «Претензию оставить без последствий». Остальные листы книги были белые. Снова подошел я к окну, подышал на стекло и сквозь оттаявшее пятно увидел, что уж закладывают в возок последнюю лошадь. Скоро повернулись зыряне. Я натянул шубу, нахлобучил шапку и вышел.

Абрам вел разговор с рыжим, толстеньким, приземистым зырянником, взгромоздившимся по обязанности ямщика на козлы возка.

— Ну, а ложка — как? — спрашивал Абрам.

— Пань! — отвечал зырянин.

— А как — хлеб?

— Нянь.

— Какой, право, диковинный язык! Все слова на одну колодку смахивают.

— Ну, а как сказать: «Дай мне воды и хлеба»? — продолжал любопытствовать Абрам.

— Вай меным ва и нянь, — отвечал ямщик. Абрам повторил.

— А ведь просто, право — просто; научусь по-зырянски, приеду домой и буду говорить.

— С кем же ты будешь говорить, коли у нас не знают по-зырянски? — спросил я.

— В том-то и штука-то... Удивляться станут: по-иностранному, скажут, знает, уваженья больше будет.

Проехали еще несколько зырянских станций; на каждой из них давали нам очень аккуратно и проворно лошадей, везли хорошо и скоро. На каждой Абрам беседовал об охоте, ружьях и стрельбе. Чем ближе подвигались мы к Усть-Сысольску, тем больше впрягали лошадей в наш возок, пристегивая их как попало, где по две

в ряд, где гуськом, одна за одной. С последней повезли на восьми, с двумя вершниками.

В Усть-Сысольск приехали мы ночью. Возок подкатил к большому довольно красивому дому.

— Куда ты нас привез? — спросил я ямщика.

— К Назар Иван.

— К какому Назар Иван?

— К Назар Иван Сбоев.

— Кто такой Назар Иван Сбоев?

— Хозяин станцы.

Вероятно, колокольчик наш был услышан, потому что в доме зашевелились, послышался скрип шагов, стук запора, наконец, отворились ворота и кто-то прокричал: «Въезжайте!»

Я выбрался из возка и взошел в чистые, опрятные комнаты, чересчур роскошные для станции. Едва я успел пообогреться и спросить самовар, как явился Назар Иванович Забоев, хозяин дома и содержатель станции. Это был мужчина среднего роста, лет сорока пяти, плотно сложенный, чернобородый, с правильными резкими чертами, подходящими более к жидовскому типу, нежели зырянскому. Он пощелкивал кедровые орешки, скорлупу от которых чрезвычайно ловко выплевывал в кулак.

— Купец Забоев, здешний; просим познакомиться, — проговорил он частоговоркой и откашливаясь, как будто у него першило в горле.

— Очень рад, Назар Иванович; прошу не оставить вашим вниманием; не стеснил ли я вас своим приездом: это, кажется, ваши домашние комнаты.

— Да, мы здесь живем. И приезжающие останавливаются, потому — станция... содержи; а вы писали... для вас квартира нанята.

Действительно, недели за две до отъезда моего в Усть-Сысольск я писал к господину, под начальством которого обрел меня судьба служить, о приискании квартиры и потому очень обрадовался, услышавши от Забоева, что просьба моя была исполнена.

Подали самовар.

— Не угодно ли чайку напитокя вместе? — предложил я Забоеву.

— Нет; бывое дело, благодарим; да и поздененько, на боковую пора; спокойной ночи-с!

Забоев откланялся; я принялся за самовар. Явился Абрам.

— Что, Абрам?

— Ничего; все выносили. Вы слышали, квартира нанята?

— Забоев сказывал; здесь приезжий-то на диво, так все про него знают.

— Не расспрашивал — хороша ли?

— Хорошая, говорят, только внизу; хозяйка Дьяковой прозывается; такая, сказывают, хлопбаба, что на-поди!

На другой день отправились мы с Абрамом осматривать квартиру.

Город погружен был в сугробы снега; но чистенькие домики, правильные и широкие улицы, высокая местность произвели на меня приятное впечатление. Пройдя вдоль главной улицы, мы повернули к собору и вышли на берег. Здесь нам указали дом чиновника Дьякова, серенькое двухэтажное здание. Мы поднялись наверх и взошли в прихожую; звонка не было, двери не заперты: в Усть-Сысольске жили по простоте, нараспашку.

Нас встретила хозяйка, женщина лет под пятьдесят, но чрезвычайно свежо сохранившаяся; заметно было, что в свою молодость она принадлежала к весьма красивым особам.

После я узнал, что Николай Иваныч Надеждин, когда-то сосланный в Усть-Сысольск, вывел ее в своем рассказе, напечатанном в «Утренней заре». Там он называл ее хорошенькой, бойкой зыряночкой; но в настоящее время бойкая зыряночка представляла очень увесистую фигуру.

— Слышала, батюшка, что вы приехали, — заговорила хозяйка, усадивши меня в гостиную, — от Забоева прибежали сказать ранехонько: жилец, говорят, ваш приехал, чтоб квартира была готова. Сами ведь в комнатах-то живут, для станции особого помещения нет, ну и стесняются чужим человеком. Пожалуйте посмотреть.

Спустились вниз. Комнаты оказались низеньки, но чистенькие, кухня особо — через сени; мебели довольно; на первых порах, принимая в соображение дешевизну — четыре рубля в месяц с дровами, — жить можно.

— Вот с Богом и переезжайте: комнаты натоплены и вымыты; только уговор лучше денег: у вас собачка, говорят, есть, чтоб курок моих не гоняла; этого я не люблю; да человек у вас есть, чтоб в огород ко мне не ходил — морковь да брюкву таскать, да чтоб он неприличных слов вслух не произносил: дочка у меня, нехорошо для девушки.

— Будьте покойны, сударыня: собака моя ходит только за лесными курками, а домашних не трогает, да и курки ваши теперь еще не гуляют, и морковь ваша и брюква, полагаю, еще не растут, потому что в огороде вашем на сажень сне-

гу; что же касается до неприличных слов, то мы их никогда не говорим, да и у девушки ушки золотом завешены.

— Да ведь это я, батюшка, на всякий случай, так для переды сказала, потому в прошедшем годе был у меня постоялец, тоже с своей прислугой жил; наказание!.. лакеишка его все повытаскала из огорода, и такой ли мерзавец: что ни ступит, то скверное слово во все горло; а тут Оленька у окошка, нехорошо.

В тот же день мы совсем перебрались на квартиру и устроились хозяйством как следует.

Дня через три Абрам подозвал меня к окну.

— Посмотрите-ка, батюшка, сюда, поправее вот этой избенки, что стоит на берегу, видите на той стороне ельник — это место островом прозывается, потому — реки его окружают со всех сторон: отсюда — Сысола, левее — Вычегда; а там, за островом, — Потеряй. Все это пространство по веснам заливается водою. Смотрите потом дальше, прямо — видите — черная такая полоса, это темные-растемные леса, и конца, говорят, этим лесам нет, и живут в этих лесах всякое зверье и всякая птица лесная; теперь смотрите-ка налево, видите — кусточки-то ракизовые — это Вычегда около них течет, большая, говорят, река и дюже рыбистая; а в ракизовых кусточках этих белая куропать по зимам держится, думаю туда с ружьишком накатить.

— Откуда ты всю эту географию узнал, Абрам?

— Здешние сказывали, расспросил. Здесь народ важнеющий, простой и словоохотный. Меня уж приглашали лесовать: все, говорят, тебе покажем, всем здешним охотам научим, по хоро-

шим местам выводим. На первой неделе Велико-го поста партия собирается дней на пять; я бы с ними пошел, берут, и лыжи обещали.

— Что же, с Богом; только вынесешь ли ты эту охоту? С непривычки будет тебе трудненько тянуться с зырянами.

— Ничего не трудно: на лыжах я хожу, уж верно, не хуже их, ночевки-то лесные знаю, приваживалось под небом ночевать, а у них для этого, говорят, избушки понаделаны. Котелок с собой возьму, компас, чтобы не заблудиться. Непременно пойду: надо же научиться здешним охотничьим порядкам.

Решено было на первой неделе поста, до которого оставалось еще дней двенадцать, отправиться Абраму с зырянскими охотниками в лесовье.

ПРИМЕЧАНИЯ. *Яренск* — уездный город Вологодской губернии на р. Яренге близ ее впадения в р. Вычегду (ныне — юго-восток Архангельской области). *Усть-Сысольск* — название г. Сыктывкара (современной столицы республики Коми) до 1930 г. *Желна* — дятел. *Гусевой кнут* — кнут на длинном кнutowище, используемый при запряжке лошадей гуськом. *Зырь* — Зырянский край (территория современной республики Коми, до 1918 г. входившей в состав Вологодской губернии). *Рыдван* — здесь: расхлябанный возок на полозьях. *Затолошь* — захоlustье. *Когда в русском царстве потянуло свежим ветерком* — накануне отмены крепостного права, в начале царствования Александра II. *...на егерском поприще* — на охотничьем поприще. *Богородская трава* — тимьян ползучий, чабрец, полукустарник, используемый как лекарственное растение (в народе ему приписывались магические свойства). *...с пустыми тороками* — без добычи. *Ягдташ* — охотничья сумка для дичи. *Пуделять* — делать промахи в стрельбе.

бе. *Утренник* — утренний мороз до восхода солнца. *Черныш* — черный лесной кулик. *Отопок* — изношенный башмак. ...с богатым полем — с удачной охотой. *Накляная* — наклоненная, кривая. *Свал* — место сбора. *Вересняжок* — заросли невысокого можжевельника. *Нани* — даже. *Лесной* — леший. ...приговоры от призоры — заговоры от сглаза. ...на загороде — за селом. *Пропадина* — падаль. *Самострел* — большой лук, тетива которого спускается от заднего зверем конского волоса. *Уйма* — лес. *Уды* — охотничьи снасти. *Картечи* — крупная дробь. *Сысола* — левый приток Вычегды, на котором стоит Усть-Сысольск; здесь, по-видимому, имеется в виду этот город, а не река. *Взвоз* — подъем. *Сажень* — мера длины, равная 2,134 м. *Мызгнуть* — свистнуть, подманывая собаку. *Можжухой...* провенчать — можжевельником отстегать. *Киса* — шкура с оленьих ног. *Вершок* — мера длины, равная 4,4 см. *Кровь урезная* — обильно текущая кровь. *Руда* — кровь. *Надуви* — сугробы. *Наволок* — речная пойма. *Выворот* — корневище поваленного дерева с пластом земли. *Оснимать* — ободрать, снять шкуру. *Проштыкнуться* — дать маху, ошибиться. *Леснина* — лесная сторона. *Боровые протяжения* — сухие места, заросшие хвойным лесом. *Оазы* — оазисы. *Вершник* — верховой, всадник. *Николай Иванович Надеждин* (1804–1856) — литературный критик, журналист, этнограф; в 1837–1838 гг. отбывал ссылку в Вологде и в Усть-Сысольске. ...в своем рассказе, напечатанном в «Утренней заре» — имеется в виду очерк Н. И. Надеждина «Народная поэзия у зырян», напечатанная в альманахе «Утренняя заря» на 1839 год. Общение с упомянутым Арсеньевым лицом описано в этом очерке так: «Через несколько дней меня пригласили в один знакомый дом на вечеринку. Я пришел и нашел — игрище. Множество девушек собралось к подругам, дочерям хозяйского дома. Они беспрестанно водили круги и пели. В самом деле, песни были все русские, хотя из певиц много две-три знали порусски... “Цивилизация,— возразил я про себя,— все цивилизация! Не так ли и у нас в гостиных выводят нотки итальянских арий и французских романсов!..” — “Нравят-

ся ли вам наши забавы?” — спросила меня одна из знающих по-русски, премиленькая и прехорошенькая, которую я бы назвал *прекрасной зырянкой*, если б не боялся напомнить блаженной памяти *прекрасную россиянку*. — “Очень, — отвечал я с приличной вежливостью. — Но отчего не поете вы по-зырянски? Это было бы еще лучше — то есть любопытнее для меня...” — “Да зырянских песен-то нет”. — “Как же нет? — продолжал я, хватаясь за последнюю соломинку. — Ну, а например на свадьбах... и на свадьбах все поете вы по-русски же?” — “Все по-русски. На свадьбах у нас только плачут по-зырянски...” — “Плачут? — вскричал я. — Как плачут?” — Это слово было для меня яблоком Ньютона. — “Плачут — то есть не то чтобы в самом деле плачут... А так — изволите видеть, — перед самым венцом невеста прощается с отцом, с матерью, с родными и всеми; и девушки поют, как ей, бедненькой, грустно, как были до ней добры отец и мать, братья и сестры... Все это так жалобно, что иные и в самом деле обливаются слезами... Я сама не раз навзрыд плакала...”»

Лесоватъ — охотиться в лесу.

ПОПАДЬЯ-ОХОТНИЦА

Приехал я в Подъельск, селение на Вычегде, в 96 верстах от Усть-Сысольска. Покончивши дела в правлении, пошел к знакомому уряднику, навстречу — священник.

— Голубчик вы мой, Ф<легонт> А<рсеньевич>, двадцать пять лет не видались, опять Господь Бог привел!.. состарились же вы, состарились!

— Здравствуйте, отец Петр, сердечно рад с вами видеться! Как не состариться: двадцать пять лет, не двадцать пять недель; да и вас таки изрядно попригнуло.

Отца Петра я знал в лучшую пору его жизни. Это был чернобородый, живой священник, с энергичными, блестящими глазами, с стремлением к неустанной деятельности на трудном подвиге. Он был пастырем подвижной церкви на Печоре, боролся с расколом, мужественно претерпевал разные оскорбления от населения, зараженного ересью какой-то смешанной, неизвестной секты. Теперь это — старик, с поседевшими волосами, сторбившийся и усталый. Отец Петр затащил меня к себе. Потолковали о старине, вспомнили прежние годы, перебрали всех общих знакомых здешнего края и вообще вели беседу, какая обыкновенно бывает в этих случаях, после долгого промежутка времени, прошедшего вдали друг от друга.

— А я с Печоры всего два года как сюда переехал, — повествовал отец Петр, — сжился с тем краем, жалко было расстаться, и теперь тоскую, все здесь постылым мне кажется; а родное, дела рук моих, дела моих неусыпных трудов, исполненных с благословения Божия, там оставил, и болит теперь по ним сердце. Там я себе гнездо свил теплое, уютное, на широком приволье, а здесь в чужом доме живу: во всем неустройство и неудобства разные. С 1862 года я службу при подвижной церкви оставил и поселился оседло в селе Щугоре священником при местном храме. Домик себе выстроил на берегу Печоры, на возвышенном, красивом месте, сам бревна рубил, сам возил их, сам топором работал при постройке. Огород за домом развел, пенья выкорчил, разделал, удобрил: картофель, брюква, редька родились превосходно. А на задах, сейчас за огородом, к лесу, на моей же выгородке, ягоды само-

родные прекраснейшие произрастали: земляника, поляника, клюква, морошка. Берега Печоры возвышенные, сухие, а двинься сажен сто от берега, в глубь леса — сейчас тут же и моховое болото. Осушил я его на своей делянке, канавки провел, стоки сделал; оттого, надо полагать, и ягоды у меня крупные родились. Поселился я немного на отставе от селения. Перед моим домом росли громаднейшие лиственницы, я их разредел, десятка полтора ссек, чтобы вид не заслоняли на Печору, а некоторые оставил для украшения. Много раз случалось, осенью, в тихие зори, утром глянешь в окошко — глухарь сидит или тетеря на лиственнице. Конечно, по сану моему стрельба недозволительна, проливать кровь священноцерковнослужителю не подобает, вот и кричишь: «Сенька! бери винтовку, — мальчик лет 15-ти служил у меня в работниках, ловок был на стрельбу, бестия, — беги скорее на чердак, пальни его, разбойника, из слухового окошка!» Сенька и цапнет. Свалится глухарина с высокой лиственницы — как пестерь, так хлопнется о мерзлую землю, нани гул раздастся. Близко ведь: всего каких-нибудь десять-двенадцать сажен. Раз сижу я у окна, книги церковные проверяю. Тоже осенью было, день тихий такой, серенький, дождичек изредка побрызгивал маленький, точно сквозь сито. Вдруг с великим шумом птицы какие-то прилетели и уселись на лиственницу. Смотрю — рябчики. И как бы вы думали, батюшка мой, ведь много, штук пятнадцать; я экой стаи никогда рябцов и не видывал. В углу — винтовка совсем налаженная, стрелять бы, да по сану моему...

— Знаю, батюшка, недозволительно; ну, что же вы?

— Опять за Сенькой. «Бери,— говорю,— винтовку, дуй из слухового в рябцов, да смотри, говорю, пострел, по нижнему сперва, по самому, говорю, нижнему». И я с ним поднялся на чердак. «Вали, вали по нижнему!» Скатил одного, сидят рябцы, только стрекочут да головками поворачивают; потом зарядил — и другого; до пяти штук уложил, тогда уже снялись остальные и улетели. Польшников тоже таким способом великое множество раз стрелять приводилось.

— Все же, отец Петр, я думаю, скучненько вам было: безлюдье страшное, глушь!..

— В трудах праведных, голубчик мой, время проводил, некогда о скуке-то было думать. А весной, Господи, какое раздолье-то, какая ширь необъятная, бесконечная! Выйдешь это на бережок, сядешь на скамеечку под лиственницу: тишина в воздухе, тишина на воде; благорастворение и благодать неописанные. Взглянешь на север — черное море лесов стелется, уходит в даль, и конца-краю ему нет. Печора, точно широкая серебряная лента, прорезывает эти темные, дремучие леса. На восток Уральский хребет горбами да зубцами играет на небе; закучатся облачка по-за ним, надвинутся на горы, и не различишь, где кончаются горы, где начинаются облака. Картина!.. да как ляпнет на эту картину свет солнечный и обольет ее золотом!.. Боже милостивый, каких чудес не совершил ты в нерукотворенном создании своем! а там, вверху Печоры, смотришь, струйка дыму змейкой ввинчивается в воздух: это пароход бежит, чердынцы всякую провизию доставляют печорским жите-

лям, каждую весну два-три раза, а от них товар промысловый закупают. Тут запас делаешь на целый год и живешь себе, как у Христа за пазухой, — чудесно!

— Ну, а насчет рыбки как, отец Петр, занимались, конечно?

— Нет, к этому я не был пристрастен, этим у меня матушка попадья орудовала, это ее была охотка.

А матушка попадья в это время подает стаканы с чаем на подносе. Она еще видная, крепкая, бодрая старуха; доброта, приветливость и в лице, и в глазах так и светятся.

— Как же, родной мой, охотница была, страшная охотница, — поясняет матушка, — умирала на реке: и невод сама таскала с артельщиками по пояс в воде, и бреднем ловила, и сетями, и ветелями, и ботальной мережей. Рыбы насолим, навялим, икры наготовим. Круглый год не переводился у нас этот харч...

— Да вы говорите-ка с ней хорошенько, — перебил отец Петр, — потолкуйте-ка, какие деяния она совершала: охотой ведь занималась, по путикам ходила.

— Ходила, родной, ходила, как же: путик мой начинался на задах нашего дворища, обход был малый, верст на восемь — не больше. Сама и слопы настораживала, петли и ловушки разные налаживала. В первые годы одна обход делала, да по раз медведь, пес окаянный, напугал, опасно стало одной-то ходить; так Сеньку с собакой стала брать.

— Как это он вас?

— Зверя этого много на Печоре. Поведится он ходить по путикам — беда, оберет всю дичь на-

чисто. В глухую осень это было, но еще снег не напал; пошла я в обход. Подхожу к глухарному слопу, смотрю, кто-то ворочается; а под вечерок, да и в чаще, хорошо-то разглядеть не могу; подумала: кто-нибудь из промышленников не шалит ли? Хоть не бывало этого у нас, да как тут... на грех, может, кто и соблазнился. Вот я это тихохонько крадусь, в оплоть подошла к слопу, а он, чтоб ему пусто, окаянному, слоп-то поднял, залез туда до половины, да и тащит мошника. Вижу — медведь, да как взвизгну, он как рявкнет! и бежать, и бежать, а я в другую сторону, не помню, как домой ввалилась!

— Прибежала, лица на ней нет, — добавляет отец Петр, — бледная, дрожит вся. «Что, — говорю, — матка, аль испужалась чего, попритчилось что ли тебе?» — «Так и так, — говорит, — медведь». — «Будет по путикам ходить, — говорю, — оставь это рукомесло, работника посылай!» Какое!.. на другой день опять в обход пошла.

— Не встречали уже больше медведя-то?

— Нет, не встречала, должно быть, сильно, дурень, испугался бабы, не приходил больше.

— Ну а как же в зимнее время, матушка, по глубокому снегу; по путикам-то уж и кончено?

— Э, что вы говорите, полноте, кто ее удержит! Наденет она мои суконные старые штаны...

— Ты, отец Петр, поунялся бы немного, все-то бы не болтал, — возразила матушка.

— Правду говорю. Наденет это мои штаны, малицу натянет, шапку-ушанку, пимы на ноги, лыжи, да как начнет уписывать, так что тебе промышленник добрый мигом облетит весь обход. Ружейцо иной раз прихватит, бельчонку устрелит, как-то раз лисицу ухайдачила.

— Как, матушка, неужели и постреливали?

— Врет он, родной мой; слушайте его, пусто-мелю старого.

— Правду говорю, ей-богу правду!

— Эге, отец Петр, теперь я догадываюсь, кто из слухового-то окошка по дичине стрелял!

Матушка, махнувши рукой, вышла из комнаты, а отец Петр, подмигнувши левым глазом, лукаво улыбнулся вслед матушке.

<1885>

ПРИМЕЧАНИЯ. Реальные лица, изображенные в очерке, — священник Петр Васильевич Распутин и его супруга Калисса Ивановна. Описываемая встреча автора с ними произошла в 1883 г. *Урядник* — низший чин уездной полиции. *Подвижная церковь* — передвижная, походная церковь, устраиваемая обычно в палатке. *Раскол* — отделение от Русской православной церкви части верующих, не признавших реформ патриарха Никона (проводились в 1653–1658 гг.). *Ягоды самородные* — дикие заросли ягодных кустов. *На отставе* — поодаль. *Пестерь* — лубяная корзина. *Польник* — тетерев. *Влагорастворение* — благоухание. *Чердынцы* — жители города Чердыни и его окрестностей (Северное Предуралье). *Ветель* — вентерь, рыболовная сеть в виде кошеля на обручах. *Ботальная мережа* — сеть, в которую загоняют рыбу, поднятую со дна. *Путик* — звериная тропа. *Слоп* — ловушка для мелких зверей, состоящая из убойной плахи с подставкой (насторожкой) и наживы. *В оплоть* — вплотную. *Мошник* — глухарь. *Малица* — короткая меховая одежда шерстью наружу, с капюшоном. *Пимы* — меховые сапоги.